

ЕВГЕНИЙ ТУИНОВ

СПАСТИ



СОХРАНИТЬ



ЕВГЕНИЙ ТУИНОВ

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ

РОМАН

ЛЕНИЗДАТ

1986

- Т81 Туинов Е. В.
Спасти и сохранить: Роман. — Л.: Лениздат, 1986. — 352 с., ил.

Роман ленинградского прозаика посвящен социально-этическим и морально-нравственным проблемам современности. Широким изображительным фоном являются в нем работа главных героев над созданием кинофильмов, а также труд буровиков-геологов, ремонтников железнодорожных путей — героев снимаемых фильмов. Оператор Колмаков и режиссер Рагозин олицетворяют в романе добрые жизненные начала, их борьба за общенародные идеалы, проявляющаяся в каждодневной работе, является идейно-тематической основой этого произведения.

Т $\frac{4702010200-137}{M171(03)-86}$ 192—86

АЗИАТКА

Экспедиция
первая



1

В городе было все: арыки, пирамидальные тополя, серые понурые ишаки, сухие сигареты в магазинах, тюбетейки, дешевые арбузы, дыни, помидоры, персики на базаре; были загорелые медлительные люди; были танцы в парке на круглой бетонной площадке, жестяная музыка из динамиков и драки на этих танцах; были малиновые к вечеру горы с трех сторон на горизонте и тягучий асфальт дороги на Ташкент и на перевал к Ферганской долине, а между двух встречных полос дороги росли высокие цветы, похожие на деревенскую российскую мальву. Не было только прохлады. Ни утром, когда солнце круто карабкалось по небу в зенит; ни днем, когда город, желтый от зноя и пыли, прятал живых своих обитателей и хранил каждый лоскуток тени в домах, скверах и чайханах; ни вечером, когда оживали и сухо, пронизывающе стрекотали цикады; ни ночью, когда зажигались фонари и появлялись летучие мыши, рискованно снующие между горячими стенами домов, столбами, деревьями. Казалось, прохлады не было нигде и никогда.

Два дня после приезда киногруппа пролежала в номерах раскаленной гостиницы, лишь к вечеру выползая на улицу, чтобы размять ноги, закупить продуктов на базаре и выпить ледяного морса, который продавали из желтой бочки на колесах.

Холодную воду в гостинице включали три раза в сутки всего на час-полтора, остальное время текла только горячая. Горничная сказала Колмакову, что вся вода идет на поливку хлопка.

На третий день Колмаков встал с головной болью. Ночью он то и дело просыпался от жары, от звона цикад, от собачьего лая где-то вдалеке, в неведомых улицах и переулках, потом долго ворочался на липкой от пота простыне, и не мог найти удобное положение тела,

чтобы заснуть. А утром его разбудило, вырвало из душевного полусна-полузабытья журчание воды в раковине. Хотелось пить. Он торопливо прошлепал в ванную, боясь, что отключат утреннюю воду, напился прямо из-под крана, наполнил про запас графин и принял душ.

Солнце лупило в окно. Желтый город раскинулся внизу безрадостным ослепительным пространством, и Колмаков с минуту постоял у окна, взъерошивая мокрые волосы, шурясь и зевая, подумал о том, каково сейчас в горах, где им предстоит снимать, закурил. Сигарета казалась ядовитой от сухости и потрескивала при каждой затяжке, как бикфордов шнур.

Колмаков с тоской вспомнил Ленинград, дом свой, комнату с окном во двор, вспомнил Катерину... Она еще спала, должно быть, и этому же вот солнцу еще предстояло заглянуть в окошко, разбудить ее своими незлыми северными лучами.

Катерина провожала его в эту экспедицию, как провожала почти во все предыдущие. И снова все было, как прежде: что-то осталось недосказанным, недоделанным, недочувствованным, осталось там, на перроне Московского вокзала. И ему страшна была эта затянувшаяся нерешенность, неизменность их отношений. По-прежнему Катерина любила и его, и другого человека, и по-прежнему она тянула с выбором.

Это продолжалось уже почти два года. Катерина не была ему ни женой, ни невестой, ни просто его женщиной. Она приходила и уходила, и все время Колмаков ощущал присутствие того третьего, которого Катерина тоже любила или жалела и которого вовсе и не скрывала от Колмакова. Сначала он злился на него, потом отступал, снова злился и в конце концов сдался, примирился с его существованием между ними. Ведь Катерина и без него, Колмакова, не могла обходиться. Приходила же она, как только он звонил и просил, провожала, встречала, даже поливала цветы в его комнате, когда он бывал в отъезде, и пересылала письма.

«Что она, домработница?» — думал Колмаков в минуты злости на нее, на себя, на того третьего.

Но больше всего злило Колмакова то, что сам он не мог ни уйти от Катерины, ни заставить ее выбрать. Раньше все решалось более или менее просто, да и куда понятнее были его отношения с женщинами. А тут ни то ни се.

Он потерял прежнюю уверенность в себе, — а ведь была, была... Это даже отразилось на его работе. Кол-

маков дольше стал выставлять свет на съемочной площадке, чаще и тщательнее замерять экспозицию, опасаясь любых изменений погоды. И мучился, страхась брака, в ожидании материала из проявки. Такого с ним никогда не было. Случалось, припоровившись к пленке, привыкнув к определенным условиям освещения, он чуть ли не с середины картины мог снимать без экспонометра, на глаз определяя экспозицию. А уж со светом — какие приборы и как устанавливать — вообще не было сомнений.

Колмаков считал себя профессионалом и гордился своей редкой профессией кинооператора, гордился тем, что режиссеры любили с ним работать. И на ж тебе — эта странная, пугающая его беспомощность и в любви, и в работе!

2

Пора было грузить съемочную и осветительную аппаратуру в машину. Колмаков торопливо оделся, потя от резких движений, причесался у зеркала и вышел из комнаты.

Потом они с режиссером, его ассистентом, осветителем и ассистентом Колмакова долго ехали на «газике» по городу. Горячими волнами воздух врывается в кабину, обжигая лицо.

Ребята были вялыми и подавленными. Борька Лапин, ассистент Колмакова, рассказывал о том, что вчера объелся помидорами и всю ночь промаялся животом. Борька любил поболтать о своих недугах, о том, что ел, как приготовлена была пища; любил посплетничать о студийных приятелях, о начальстве. Ему было сорок два года, но Колмаков знал, что и в пятьдесят, и в шестьдесят все на студии будут кликать его Борькой, а интересы его вряд ли зайдут дальше очередного диковинного блюда: какой-нибудь сибирской строганины или узбекского лагмана, — в зависимости от того, куда еще забросит его беспокойная профессия. Но Колмаков знал и то, что Борька — умелый, добросовестный ассистент оператора, и этого было для него достаточно, чтобы терпеть скучную Борькину болтовню. С некоторых пор Колмаков многое прощал людям за их профессиональное умение.

Когда выбрались за город, асфальт кончился. Желтая пыль поднялась из-под колес и, медленно оседая в безветренном раскаленном воздухе, потянулась клубя-

щимся хвостом за машиной, повторяя изгибы дороги. При торможении желтое облако вваливалось в открытые окна, просачивалось в щели брезентового верха кабины, и уже через несколько километров пути одежда у всех покрылась слоем пыли и сделалась одноцветной.

Колмаков забеспокоился за кинокамеру и оптику. И хотя чемоданы, где лежала аппаратура, были плотно закрыты, он сказал Борьке Лапину:

— Камеру придется каждый день чистить после съемок. Пыльно! Жарко! Завтра же белого полотна купи, чтоб было чем от солнца закрывать.

Борька кивнул и тут же заговорил о другом:

— Когда мы с Митей Струниным под Пятигорском снимали... Картина была так себе. А там с утра солнце, небо чистое, иногда даже Эльбрус видать — розовый тачкой, плоский, торчит из-за гор. А к обеду, как по расписанию, тучку пригоняло. А она за макушку горы зацепится и в какие-то час-два в полнеба вырастает. И дождина до вечера, с градом, бывало. А снимать-то надо... Мы с Митей зонтик раздобыли. Художница у него там знакомая образовалась, она и дала. На выдвижной ноге, метра два в диаметре. В землю воткнул — крыша. А мы под ним не только сами с камерой помещались, но и режиссершу пускали на стульчике посидеть. Была там такая зануда — Марья Марковна Вечная...

— Это она вас пускала! — огрызнулся с переднего сиденья режиссер Иван Рагозин. — И чего это вы там в дождь снимали?

— А картина была про дождь и град... — отозвался Борька.

Иван, или Иван Николаевич, как иногда обращался к нему в шутку Колмаков, болезненно относился ко всякого рода ирониям, часто и вовсе по пустякам обижался, но был отходчив и незлопамятен.

Познакомились они сразу по приходе Колмакова на студию, — поссорились из-за очереди в просмотровый зал. Но уже через день после этой пустяковой ссоры Иван сам подошел к Колмакову мириться. Мировую скрепили в студийном буфете, а после добавили в ближайшем кафе «Темп». Иван Колмакову понравился.

В детстве Иван переболел рахитом, и вот теперь у него были короткие ноги. Ноги-то были как ноги — Иван даже имел когда-то разряд по лыжам, — но никак не сочетались они с его большой крутолобой головой, с развитым торсом и сильными мужицкими руками. Ему на роду было написано иметь высокий рост, быть добро-

душным великаном-увальнем, но ноги все портили. Впрочем, не так уж и сильно портили. Это Иван почему-то так считал.

На Колмакова он смотрел с восхищением и часто говаривал:

— Тебе повезло. Всё на месте, всё оттуда, откуда надо, растёт. Пропорционально!

— Брось ты, Иван Николаевич...— смущался Колмаков.— Какая разница?

— Когда мне было двадцать пять, я тоже разницы не замечал,— возражал Иван спокойным голосом, немного растягивая слова и чуть заметно окая.— Это сейчас... С годами... Ты ж — пацан. Все легко, все впереди... Оно и на мой век кое-что осталось... Да уж не сравниться с тобой. Ты и в старости видным мужиком будешь: седина, осанка, степенность... А я все вроде как недомерок какой. Было, конечно, и у меня в молодости... Романы там... Победы... Только где это все? Было...

— Так у тебя ж — жена, дети теперь,— возражал Колмаков.

Иван хмурился, потом как-то хитро улыбался, даже не то чтобы хитро, а будто бы плутовато, будто сам себя хотел провести, обмануть, и говорил затем так же обманчиво, не то в шутку, не то всерьез, умалчивая самое главное и не глядя Колмакову в глаза:

— Жена-а?.. Оно конечно... Оно понятно... А сам-то что не женишься?.. Человека поди ищешь? Поищи, поищи... Найдешь, потом заживешь бок о бок с этим человеком... Тогда сам и смотри... И думай, что жена у тебя, дети... И о себе вспомнишь. Жизнь-то проходит, а у тебя все жена да дети... Дети да жена... Хотя, впрочем, смеюся я... К слову пришлось...

На буровой их ждали. Пока Борька Лапин и осветитель Юрасик Ковтун разгружали аппаратуру, Иван и Колмаков пошли знакомиться с людьми.

«Бригада Героя Социалистического Труда Шокира Балобаева»,— прочел Колмаков табличку у входа на буровую.

— Балобаев,— протянул им руку высокий седой узбек с правильными чертами лица и добрыми глазами.— Можно просто — дядя Саша.

По-русски дядя Саша говорил чисто, без акцента. Позднее Колмаков узнал, что он женат на русской.

На дяде Саше были брезентовые широкие штаны, клетчатая рубаша с закатанными по локти рукавами и стоптанные пыльные кирзовые сапоги с подвернутыми

голенищами. Густые седые волосы прижаты были каской, которую теперь он держал в руках.

Пока Иван расспрашивал дядю Сашу о порядке работы на буровой, договаривался о завтрашних съемках, Колмаков зашел под навес над станком и стал наблюдать за двумя молодыми узбеками с потными, загорелыми лицами. Один из них был буровиком, другой — помощником. Это Колмаков помнил из сценария. Но парни были одинаково молоды, и ему не сразу стало понятно, кто из них кто. Они лихо орудовали подъемником, гремели ключами, перебрасывались изредка непонятными Колмакову словами.

Шла выемка бурильной колонны. Подъемник с грохотом взвивался вверх, в ослепительное азиатское небо, и там замок его с сухим металлическим щелчком автоматически освобождался, чтобы снова спуститься. Свеча, изогнувшись, как спортивный шест, валилась в запасник.

Колмаков машинально отметил, что, если понадобится панорама за подъемником вверх, придется зажимать диафрагму в процессе съемки.

Он всегда старался заранее предусмотреть все неожиданности, которые могли возникнуть в работе, и всегда неожиданностей случалось больше, а решения требовались немедленно. Но Колмаков со свирепой цепкостью вникал в любой процесс, в технологию того, что предстояло снимать, читал режиссерский сценарий, расспрашивал специалистов. А теперь особенно проявлялась его дотошность.

Буровики улыбались Колмакову, продолжая работу.

Его всегда захватывала чужая сноровка в труде, восхищало умение другого человека немногими точными движениями заставлять механизмы делать предназначенное им дело.

Сам Колмаков во время съемок испытывал иногда такое чувство, будто за ним кто-то наблюдает. Тогда он принимал солидный вид, сосредоточивался и важничал. Но был он чересчур горяч для того, чтобы выдержать все действия свои в этой уверенной, невозмутимой манере. Увлекаясь работой, он незаметно терял это чувство, забывал о нарочитой напускной важности, о том, какое впечатление производит со стороны. Он приседал, опирался на колено, вскакивал в поисках нужного кадра, что-то выкрикивал ассистенту, осветителю, режиссеру. В пылу съемок Колмаков мог обругать кого-то и тут же забыть об этом. Но зла ему почти никогда

не помнили. И вообще на работе все ему было яснее, все измерялось лишь пользой тех дел, которые делались им и другими членами съемочной группы, пользой для общего результата — будущего фильма.

3

Иван позвал пить зеленый чай, но Колмаков остался у бурового станка наблюдать, как забрасывают в скважину керноприемник. Он уже мысленно мчался за ним в узкой темноте подземного разреза, представлял, как несется, ударяясь о стенки скважины, металлическая труба, как врежется она в промывочную жидкость и, укротив свое стремительное падение, медленно оседает на колонковый набор.

Все эти термины чужой профессии, все новые для него названия еще были непривычны для слуха Колмакова, еще не рождали в его воображении точного зрительного образа, еще не стали, хоть временно, частью его жизни. И он пытался укоротить этот непременно период привыкания к новому, чтобы скорее вжиться, влезть в материал предстоящей работы и уж не путаться, не отвлекаться потом. В этом, в дотошном изучении другого, чужого для него дела, — конечно, в доступных пределах, — и была, по мнению Колмакова, сущность всякого творчества. В умении проживать чужие жизни, как свою собственную. А для этого нужно было знать эти жизни, знать людей и их профессии.

Ленивый фонтанчик мутной белой жидкости поднялся над скважиной. Керноприемник уже тащили лебедкой назад, на поверхность.

— Какая глубина? — крикнул Колмаков парню за лебедкой и, не удержавшись от соблазна показать свою осведомленность, спросил тут же: — Сейчас керн будете вывывать?

— Сто девяносто. Только начал бурить. Понедельник начал. Вчера авария был, — коверкая слова, ответил парень-узбек, не отрывая глаз от вылезавшего из скважины троса лебедки. — Керн нада каждый сто метров вывывать, — добавил он погодя.

— Вита, — тронул его за плечо Борька Лапин и протянул пиалу с чаем, — за доставку к дыре пятнадцать копеек.

Борька уже скинул рубаху и закатал по колено тренировочные брюки. Тучный живот его вывалился наружу.

— Это ты на чаевых откормился? — усмехнулся Колмаков, похлопав Борьку по животу.

— А это, Витя, от беспокойной жизни и нерегулярного питания. Можно сказать, от постоянной тоски по домашним котлетам.— Борька погладил живот ладонью.— А Иван говорит, сегодня нет съемок. Чего ты торчишь тут?

Колмаков подумал, что Борька прав: какая тут домашняя пища? Лишь бы набить чем желудок, чтобы забыть о нем на время. Ведь все в их жизни, кочевой и неустроенной, подчинено делу, а на заботы о себе мало остается времени, да и возможности не всегда бывают. И по-разному все они относятся к своей судьбе, к этим беспрестанным экспедициям, к временному гостиничному уюту, к отсутствию домашней жратвы. Многие кланут все на чем свет стоит, вечно ворчат и обещают бросить к чертям эту дурацкую работу, найти тихое место, где с девяти до шести и час на обед. Но кончается экспедиция, и те же ворчуны едут в новую и снова ворчат. Только никуда не уходят, потому что такая уж это зараза — кино, почти неизлечимая. И это здорово, что Борька шутит над неустроенным своим житьем,— все равно ведь не уйти.

Колмаков поддержал его шутливый тон и ответил:

— Готовлюсь на помбура. По мне работенка?

— Пыльная,— поморщился Борька, проведя мизинцем по краю лебедки.— Глушь. Даже не Саратов! А правильно я говорю? — обратился он к парню у скважины.

Буровики засмеялись.

Когда достали и выбили керн — каменные гладкие колбаски с красивыми разноцветными прожилками и вкраплениями, буровики снова запустили станок.

Буровой снаряд сначала медленно, потом быстрее, быстрее завращался. Пол завибрировал, и щеотно стало ступням ног на помосте. Колмаков решил, что все вращение придется снимать с рук, чтобы телом гасить вибрацию.

В домике-конурке, где сидели дядя Саша и вся съемочная группа, кипел на электроплитке чайник, что-то далекое и непонятное бормотала вполголоса трескучая рация, урчал холодильник и жужжали мухи. На столе лежали персики, кишмиш, стояли пиалушки с зелеными чайнками на дне.

Колмаков сел на лавку и поставил пиалу на колено.

— Не нравится? — спросил дядя Саша, кивая на чай.

Колмаков неопределенно пожал плечами.

— Привыкнешь.— Дядя Саша полез в стол, достал кулек и, развернув бумагу, сыпанул на тарелку белых конфет-подушечек.— Попробуй так...— Он замешкался, как будто подбирая нужное слово.— Вприкуску. Мало чая пьешь, откуда силы возьмешь?

— Спасибо,— поблагодарил Колмаков и положил конфету за щеку.

Он осмотрел внутренность домика, задержавшись глазами на развешанных по стенам выпелах, грамотах, графиках проходки, бюллетенях соцсоревнования. Мухи залепили стекла единственного окошечка, лениво ползали по занавескам. Дядя Саша отгонял их от пищи, периодически привычно взмахивая большой загорелой рукой над столом. Иван что-то помечал в сценарии. Борька Лапин принялся заваривать чай. А Юрасик от нечего делать резался в замусоленные карты с ассистентом Ивана Задолжанским.

Колмаков подумал, что это вот и есть теперь место их работы, где предстоит провести два месяца бок о бок с дядей Сашей, спарнями из его бригады. И что за люди это, какими они окажутся? Два месяца жизни: съемки, споры, ожидания, горячий зеленый чай из замызганных пиалушек, музыка по транзисторному приемнику «ВЭФ», что стоит на холодильнике, мухи, солнце, пыльная дорога на буровую и с буровой. Два месяца жизни...

Он подумал, как по приезде расскажет обо всем этом Катерине, а может, и не расскажет, забудет, привыкнет и забудет, заматается в обычной, ненадоедающей однообразности своей работы: свет, композиция, экспонометр, соотношение яркостей, оптика, пленка... Да мало ли их, забот и заботок, нужных мелочей, которые требуют внимания?

Колмаков отхлебнул свежего чая, который подлил ему в пиалу Борька Лапин, и обжег язык.

— Сдурел, что ли? — крикнул он Борьке.— Предупреждать же надо!

— А ты, как осветители, когда обожгутся,— загоготал Борька,— помочись на него! Помогает!

Ребята засмеялись. Колмаков тоже улыбнулся.

По дороге в гостиницу шофер Мехти, который попросил звать себя Мишей, сказал, что недалеко за городом от реки Чирчик отведена вода в специальный бассейн, чтобы можно было купаться. Сама река была мелкой, с быстрым течением и каменистым дном.

На полпути свернули к бассейну,— все рвались к

прохладе, к воде. Только Задолжанского высадили у автобусной остановки. Он поехал в Ташкент, где жили его родственники, обещал утром вернуться.

4

Бассейн имел форму ровного прямоугольника и зарос по берегам ивой с серебристыми узкими листьями. Неподалеку за стеной пирамидальных тополей расплоснилось поле хлопчатника, перепооясанное легкой паутиной дождевальнoй установки.

Долгожданная прохлада обожгла кожу. Вода защекотала, струясь вдоль тела. Колмаков поплыл вслед за Иваном, но вскоре отстал и лег отдохнуть на спину, закрыв глаза, чтобы не видеть солнца.

Юрасик и Борька Лапин забыли плавки в Ленинграде и еще возились на берегу, придавая своим цветастым трусам подобающий вид.

Выходя на берег, Колмаков обрызгал Борьку, который, оступаясь и поеживаясь, входил в воду. Борька завизжал, тяжело уронил свое тело в бассейн, шлепнувшись животом о поверхность воды, и, сопя, отфыркиваясь, медленно поплыл по-собачьи, подгребая руками под себя.

Колмаков растянулся на горячей бетонной скамейке, смахнув предварительно с нее песок и мелкие камешки. У него было такое ощущение, будто он затерялся в чужой далекой стороне, будто это теперь навсегда и нет ему возврата. Это как одна из тех песчинок со скамейки, упала на новое место, подчинившись чьей-то навязанной ей воле, слилась с тысячами других песчинок, забылась в безликости своей, ненужная и безразличная всем.

«С глаз долой — из сердца вон...» — подумал о себе Колмаков.

Он неожиданно осознал, что люди нужны друг другу лишь тогда, когда они вместе, рядом, что вот и Катерина далека теперь от него, и поэтому бледнее, глуше память о ней, спокойнее на душе, и не так уже гнетет его, Колмакова, существование того третьего между ними.

Колмаков прикрыл глаза рукой. Мысли его были вялыми и какими-то необязательными, непоследовательными. Одно не вытекало из другого, а просто исчезало, давая дорогу новому, неизвестно откуда берущемуся.

Охлажденное тело расслабилось, принимая тепло нагретой за день скамейки. Песок шелестел, осыпаясь с пологих барханов. И во все стороны до горизонта, где желтая твердь земли сливалась с желтым небом, распласталось зыбучее, звенящее сухим горячим звоном песчаное пространство. И страшно, безутешно уже было на душе от этого тихого вечного звука, словно он один теперь в своей нескончаемой тоскливой продолжительности оставался спутником угасающего человеческого слуха. Колмакова растолкал шофер Миша.

— Я поехал. Вы остаетесь?

Колмаков, щурясь, приподнялся на локтях, разыскал глазами Ивана. Тот еще плавал, загребая мощными ручищами, приподнимаясь над водой широкой сверкающей спиной и поблескивая стеклами очков.

— Спроси у Ивана...— вяло проговорил Колмаков и, обессилев, опустил на скамейку.

Он слышал, как Миша кликал режиссера, как фыркал Иван, подплывая к берегу, как потом заработал мотор Мишиной машины и как она укатила, подминая шинами песок и гравий. Но все эти звуки проникали в сознание сквозь полудрему и казались какими-то нереальными.

Монотонно плескалась, шумела вода в реке, заглушая голоса поздних купальщиков. И снова все поплыло, потекло куда-то, снова сжалась душа от мрачного ужаса одинокого своего существования. И вдруг, как избавление, неожиданное и желанное, вдруг откуда-то сверху прозвучал Иванов голос. И он сопровождался гудящим, отрывистым эхом в безрадостной пустоте пустыни. Он напряг слух, силясь отделаться от навязчивого песчаного звона в ушах, и душа устремилась на голос.

— Почему бы и нет?... Нет... Нет...— раздалось уже совсем близко, и Колмаков проснулся.

— Это же естественно!— продолжал Иван.— Как все в природе. Мы просто не можем переступить через что-то отнюдь не обязательное, облекаем отношения между мужчиной и женщиной в кокетство, в жеманство, в недоговоренности, в дутый туман...

Колмаков решил дослушать разговор до конца и остался лежать с закрытыми глазами, стараясь мерно дышать.

— Что вы на меня так смотрите?— спросил Иван кого-то.

— Продолжайте, продолжайте. Все очень интересно!— услышал Колмаков женский голос.

— То, что я говорю, может, не совсем привычно для вас,— сказал Иван снисходительно.

«Неужели он не почувствовал иронии в ее голосе?» — подумал Колмаков, все больше увлекаясь чужим разговором.

— Ничего, ничего,— успокоила Ивана женщина.— Я, знаете ли, привыкла. Подходят, заговаривают... И вы тоже. Но вы, можно сказать, очень деликатно предложили мне переспать с вами...

Иван перебил:

— Ну-у, этого я, предположим, не говорил!

— Вот именно! В этом и заслуга! — уже издевалась над ним женщина.— Другой раз ничего, кроме грубости и пошлости, не услышишь, а вы так обходительны!

— Зачем потакать вековым заблуждениям? — на всякий, видимо, случай задал Иван вопрос, но по изменившемуся тону его голоса Колмаков понял, что тот что-то заподозрил. Иван говорил обиженно.

— Совесть, любовь, честь — вековые заблуждения? — неожиданно сердито спросила женщина.— А вместо них — взаимное влечение полов?

Колмакову очень захотелось увидеть ее. И ему потребовалось некоторое усилие, чтобы не выдать своего пробуждения.

— Что молчите? — наступала женщина.— Как быть с совестью? Или, по-вашему, любовь нужно низвести до простой случки? А что вы сделаете, если ваша жена... У вас ведь она есть! Такой солидный дядя! Если жена ваша тоже захочет переступить это вековое заблуждение? Сразу вспомните про любовь, про совесть. Я знаю! Да и кто вы такой, чтобы отрицать все это?!

«Фурия! — подумал Колмаков восхищенно.— Держись, Иван Николаич!..»

— Мы? — Голос Ивана сделался напыщенным.— Великие расшатыватели всех и всяческих устоев!

«Кто это «мы»? — удивился Колмаков.— Он и я, что ли?»

— Я-асно! — протянула женщина, смеясь.— Только осторожнее шатайте — можно и разрушить сдуру! А тогда как бы не похоронили сами себя под обломками!..

Колмаков ждал, что ответит ей Иван, но не выдержал, засмеялся и сел на скамейке.

— Лихо тебя, Иван Николаевич! Лихо! — сказал он, разглядывая девушку.

Она была хрупкой, загорелой и какой-то насмешливо-воинственной. Глаза ее прятались за темными стек-

лами защитных очков. Одета она была в купальник красного цвета и в белую косынку, повязанную на манер сестер милосердия.

— Дядя Ваня...— сказала она удивленно и вдруг совсем по-детски прыснула в ладошку.— Простите! Я не хотела обидеть...

Тут только Колмаков увидал, как мрачен был Иван.

«Терпи, брат! Что уж теперь...» — подумал он сочувственно.

Иван смолчал, отвернулся и, заложив руки за спину, степенно направился прочь от скамейки.

— Вы все слышали, я знаю,— сказала девушка Колмакову.— И нечего было притворяться спящим! Вас выдавало дыхание.

«Грамотная! — подумал Колмаков, не зная, что и ответить.— Подмечает...»

Потом они гуляли вдоль берега реки, и Колмаков все старался разглядеть ее глаза. Ему казалось, что и над ним она тайно, одними глазами смеется, скрываясь за темными стеклами очков.

Он узнал, что девушку зовут Розой, что она не любит своего имени, потому что оно очень часто встречается в Азии, что родилась она и прожила все свои годы в этом городке под Ташкентом и что все ей тут обрыдло: и солнце, и хлопок, и базар, и приезжие дяди, которым надо одного и того же. Расставаясь, она пригласила Колмакова в одну компанию, как она сказала, очень интересных и гостеприимных людей. Он записал адрес и обещал зайти после работы.

— Захватите с собой дядю Ваню.

Колмаков кивнул вслед уходящей Розе, потом ухмыльнулся, сорвался с места, догнал ее, забежал вперед и, преградив ей путь, снял с носа ее очки. Глаза Розы не смеялись, а смотрели удивленно.

— Пока,— сказал Колмаков.

Оставшись один, он подумал о том, как неожиданно все в мире: радости, встречи, разлуки. Ведь где-то в самом сокровенном уголке его души живет Катерина, и еще полчаса назад в той заповедной стороне, где хранит он память о ней, не было никого. Катерина одна владела его душой и мыслями. А что теперь? Знакомись прямо на улице, необязательно, не заботясь и не раздумывая, что будет дальше: рассказываешь для начала пару смешных и пустых историй, любуясь мимолетным впечатлением, которое производишь на нового человека, гуляешь по берегу богом забытой, напол-